

УДК 821.161.1

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ В ПОВЕСТИ А.П. ЧЕХОВА «ЧЕРНЫЙ МОНАХ»

© Э.А. Радь

Стерлитамакская государственная педагогическая академия им. Зайнаб Бишевой

Поступила в редакцию 13 июля 2012 года

Аннотация: Автор статьи, возводя повесть А.П. Чехова к древнерусским традициям, рассматривает в ней притчевую традицию, евангельский сюжет о блудном сыне, темы судьбы и двойничества, сходства с житием святого Антония и повестями XVII века. Данный подход позволяет осмыслить и уникальность чеховского текста, и обновление традиций, наполнение их новым смыслом, и целостность литературного процесса.

Ключевые слова: диалог эпох, древнерусские традиции, притча, сюжет о блудном сыне, тема судьбы.

Annotation: The author of the article studies the parable tradition, evangelic plot of the prodigal son, the problem of fate and ambiguity, similarities to scenes from his life of St. Anthony and stories of the XVII century in Chekhov's work from the point of view of the Old Russian traditions. This approach helps to understand both a unique character of Chekhov's text, renovation of traditions with new meanings, and integrity of the literary process.

Key words: Epoch dialogue, Old Russian traditions, parable, subject of the prodigal son, fate theme.

«Всякая культура состоит из воспомина- ний, закодированных элементов сохраненного прошлого опыта, которые существуют в самых разнообразных формах...» — отмечает профес- сор Кэмбриджского университета Д.Э. Томпсон [1, 15]. Одним из вариантов механизма проявле- ния творческой памяти, который носит характер сознательный и/или подсознательный, является обращение писателей к мифологическому и ли- тературному наследию. Этот механизм рождает новый механизм собственных мифотворческих построений, усиленных актуальными представле- ниями-концепциями. Подобную обращенность, как сознательную, так и бессознательную, мы наблюдаем на примере повести А.П. Чехова «Чер- ный монах», сопряженной с явлениями сверх- личностной памяти, образующими широчайшую область разного рода переключек.

Интертекстуальные переплетения в повести «Черный монах» осуществляются как на уровне аллюзий, реминисценций, так и на уровне акту- ализации читательским сознанием межтекстовых связей, «полигенетичности» текста, мифологиче- ской закодированности. Р. Барт заметил: «текст существует лишь в силу межтекстовых отноше- ний, в силу интертекстуальности» [2, 428]. При- сутствие на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах других текстов и образует интертекст. В связи с этим нами предпринята попытка обнаружить разнообразные межтексто-

вые связи, коды, имплицитно присутствующие в конкретном чеховском произведении. В чехов- ском тексте проявляется глубокая укорененность в многовековых пластах культурных, жанровых традиций и содержится момент воскрешения и обновления исторически продуктивных спосо- бов организации художественного целого. Так, для Чехова «Библия как особая система созна- ния стала объектом художественного анализа и осмысления, а не просто сакральным первоис- точником, текстом, имеющим тотальную авто- ритетность» [3, 76]. На уровне сверхличностной памяти, на наш взгляд, можно увидеть и связь с произведениями древнерусской литературы. На подобные мысли о межтекстовых переключ- ках наталкивает «утонченная философичность чеховской прозы» [4, 36]. «Умение читать Чехова предполагает вкус к «универсалиям» чеховской концепции личности в их нерасторжимом сплаве с его художественными «реалиями», исторически, социально, психологически локализованными порой до степени уникальных казусов жизни» [4, с.36]. Именно «универсалии», обозначенные в подтексте, с нашей точки зрения, соединяют тексты, написанные в разные исторические эпохи, смысловыми нитями друг с другом. Так, в чеховском рассказе/повести периода творческой зрелости нами обнаружено:

1) созвучие с библейским притчевым сюже- том о блудном сыне (по мнению А.П. Чудакова, рассказ уходит своими корнями в культурно-исто- рическую память притчевой традиции [5, 14]);

© Э.А. Радь, 2012

библейской легендой о грехопадении первых людей; средневековым сюжетом о договоре человека с дьяволом (в них отмечается реактуализация отдельных мотивов);

2) художественная связь с житием святого Антония;

3) структурно-художественная и жанровая общность с древнерусскими «Повестью о Горе-Злочастии»¹ и «Повестью о Савве Грудцыне», последний из которых стоял у истоков романного жанра (в «Черном монахе» видели сюжет, характерный для целого романа).

Тексты «Черного монаха», «Повести о Горе-Злочастии», «Повести о Савве Грудцыне» образуют своеобразное межтекстовое единство, которое отражает развивающиеся в пространстве литературного процесса диалоги. Данные актуальные сюжеты, впитавшие в себя различные мифологемы и современные идеи, — смоделированные авторским литературным сознанием новые варианты, отходящие от канонических текстов. Переплетение текстов произошло на уровне мотивов блудного сына, ухода, странствия, грехопадения, возвращения/не-возвращения, отчуждения/отпадения от миропорядка, несправедного партнерства с inferнальным помощником-вредителем, минуя сознание их носителей, представляя собой в типологическом смысле вариативные модели и составляя парадигматический ряд. Благодаря притчевому характеру нарратива «Черного монаха» и осуществилась, на наш взгляд, связь с древнерусскими повестями.

Как известно, притча возводит способы существования своих героев к универсалиям человеческого бытия. Назидательное слово притчи часто перебивается обращенным к слушателю или читателю вопросом, подразумевающим поиск ответа, а не диалогическое выявление самостоятельной позиции собеседника. Чеховская манера перебивать повествование вопросами — свидетельство притчевого характера произведения, включающего авторитарность повествования. Не на все вопросы, задаваемые Ковриным черному монаху и адресованные, по сути, самому себе, герой получает ответ, а лишь на те, которые по признанию самого же Коврина являются как бы подтверждением его собственных мыслей: «... ты повторяешь то, что часто мне самому приходит в голову.. Ты как будто подсмотрел и подслушал мои сокровенные мысли» [7, 277]. Вопросы онтологические, мучающие человечество много

¹ Академик Д.С. Лихачев в книге «Великое наследие» [6, с.322-329] подробно рассматривает «Повесть о Горе-Злочастии» в контексте развития темы блудного сына и темы двойничества, акцентируя внимание читателя на центральном образе, рожденном расстроенной мыслью молодца, — судьбе, персонализированной как Горе-Злочастие.

веков, волнуют чеховского героя: «...разве людям доступна и нужна вечная правда, если нет вечной жизни?... Ты веришь в бессмертие людей?... Какая цель вечной жизни? <...>... Что такое счастье?» [7, 276]. Ответы на подобные бытийные вопросы стремились подсказать евангельские притчи. Читатель вместе с героем включается в решение философских вопросов.

Притчевый характер свойствен сюжету и композиции повести. Композиционная форма «рассказ в рассказе» [8, с.105] помогает достичь максимальной отстраненности автора от героя и происходящих событий и дает читателю возможность домыслить историю. Влияние притчевых традиций отмечается и в структурной и образной соотнесенности произведения с евангельским сюжетом о блудном сыне — смысловым инвариантом, который актуализируется в читательском сознании без воспроизведения его в тексте и возрождается в контексте новой эпохи. В «процедуре» вариантопорождения писатель не сознательно создает свой текст по существующей модели, а наоборот, универсальная модель «живет» в области бессознательного, в его творческой памяти. Как отмечает Р. Барт, ««искусство» рассказчика — это способность порождать повествовательные тексты на основе определенной структуры (кода)» [9, 387]. Такими кодами и являются евангельская притча о блудном сыне и легенда о грехопадении первых людей.

«Вторжение» инварианта в новый структурный вариант происходит благодаря мотиву «отцы — дети», эксплицитно присутствующему в нарративе повести и разворачивающемуся в сюжетную ситуацию конфликта поколений. Мотив «отцы — дети» в нарративной структуре (этот мотив предполагает конфликтные и бесконфликтные отношения) становится образом-метафорой, актуализирующим в читательском сознании семантическое поле мифа. Авторское сознание художественно реализует возможность трансформации мифического архетипа в разные (и противоположные в том числе) по смыслу образы, осуществляя тем самым диалог актуального сюжета и мифа. Бессознательная трансформация первоначального содержания благодаря генерации нового смысла в новом структурном варианте исключает ряд мотивов из первоначального варианта. Главный «ген» модели-инварианта (мотив «отцы — дети») сохраняется в актуальном сюжете, чья жанровая принадлежность может быть разнообразной, обнаруживающей со структурной точки зрения присутствие нарративных категорий. Сохранен он и в сюжете повести Чехова «Черный монах».

В повести обозначены моменты возвращения блудного сына, Коврина, в родительский дом

(дом опекуна Песоцкого) и ухода, в отдельном биографическом отрезке героев акцентированно передана конфликтность ситуации. Возвращение фиксируется осознанием и потребностью в родственных отношениях. Любовью и благодарностью движем Коврин в желаниях иметь семью; любовью, гордостью и надеждой движем Егор Семенович в стремлении передать своим детям наследство (чеховская житейская ситуация передачи наследства проецируется на известный эпизод евангельской притчи – требование младшим сыном части наследства).

Жизнь вне дома блудного Коврина, человека наслаждающегося, но уставшего, с «блуждающим» рассудком, несет отпечаток греховности как результат подверженности соблазнам и искушениям. Пристрастие магистра к вину и сигарам по приезду в Борисовку с целью поправить здоровье сохраняет прежнюю функциональность его образа. С отпадением от Бога связана обреченность на неудачу в попытке обрести родственные связи. Мена состояний уединенного сознания, произошедшая под воздействием Песоцких, – причина драмы индивидуальности, проявившейся в ситуации выбора. «Чеховский герой не перерождается, а лишь трансформируется. Более того, попытка насильственно «перебросить» себя через порог ведет к разрушению личности» – пишет Г.М. Ибатуллина о Коврине [3, 49]. В.И. Тюпа указывает на сцепление уединенного сознания героя с его смертностью, которое переросло в русской классической прозе в целую сюжетную традицию [10, 52].

Диалог актуального сюжета и мифа осуществляется на уровне корреляции смыслов и дихотомии понятий: возвращение блудного сына и покаяние/не-покаяние, символическое возрождение/не-возрождение к прежней жизни, гений – сумасшедший, здоровье – болезнь, творческое начало – разрушительное начало, любовь – ненависть, отчуждение осознанное/неосознанное, полнота – пустота, духовное – физическое. Мотив грехопадения сопрягается с мотивом неосознанного отчуждения от мира, проявленного в тексте уединением в родовом имени Ковринка, которое предшествует приезду чеховского героя к Песоцким и свидетельствует, с нашей точки зрения, о начале душевной болезни. Сопряжен он хронологически последовательно и с осознанным отчуждением от семьи. Мотив духовного блуждания в дебрях своего сознания отражает разные психологические состояния героя, воспринимаемые окружающими как норма и антинорма, и подкрепляется образом блуждающего в пространстве и времени черного монаха. В образе Черного монаха мы увидели выражение персонифицированной греховной

части сознания личности Коврина, страдающего манией величия (согласно христианскому учению, гордыня и самовозвеличивание – великий грех). Ассоциативно в читательском сознании всплывают образы Горя и беса как персонифицированные низменные стороны внутреннего мира главных героев и их больного сознания из указанных выше древнерусских повестей, содержащих философскую концепцию свободы личности. С персонификацией судьбы связан мотив двойничества, впервые получивший свое художественное воплощение в древнерусской литературе. Персонифицированная судьба стала для Коврина той неведомой силой, которая произвела колоссальные разрушения в его жизни и в жизни его близких. Двойничество – свидетельство разлада с миром, несогласия своего предназначения с традицией, соединение творческого и разрушительного начал. Творческое начало как следствие самостоятельности проявляется в отказе от уготованной идиллии, уготованного варианта жизни. Отпадение от мира и Бога приводит к незащищенности от искушений дьявола и к союзу с ним. Союз этот, в свою очередь, порождает начало разрушительное, что хорошо отражено и в «Повестях». Трагедия изолированной (одинокой) индивидуальности связана с изолированностью ее внутреннего мира (уединенностью сознания) и зависимостью от дьявола. Конфликт героя, имеющего блуждающий рассудок и находящегося в состоянии блудного сына, с судьбой-горем в образе Черного монаха возникает в результате самостоятельных действий этой «индивидуализированной» судьбы.

Торжество идеального начала в притче-мифе, его сакральный смысл теряется в чеховской повести, архетипическая структура в ней демифологизируется, как демифологизируется и образ судьбы, соединяющий в себе семантику силы, не подвластной человеку, и бытового, житейского явления, болезни.

В повествовательной структуре произведения выстраиваются парадигматические ряды: душевная болезнь – счастье от встреч с монахом – любовь – принятие уготованного варианта жизни; душевное здоровье – несчастье – ненависть – протест против мира. Смерть Коврина – закономерный итог его духовного «падения» в мании величия как осознания своего избранничества, его неспособности/невозможности принять большой мир и искупить вину перед отцом за неоправданные надежды и предательство любви. Мотивы падения и безумия коррелируют между собой. Образ яблони в саду Песоцкого, к которой привязали лошадь, также ассоциативно отсылает к этим мотивам, т.к., согласно мифопоэтическим традициям, «древо яблоня – эмблема первород-

ного греха – посвящено Церере, римской хтонической богине, насылающей на людей безумие» [11, 549], и трактуется как символический образ трагического финала повести, гибели сада, смерти его создателя и самого Коврина. Образ сада, в котором появляется мираж, является смыслообразующим в повести Чехова и семантически определяется библейским преданием о древе познания, архетипическими представлениями о саде и яблоне как символе искушения, что делает его метафорой исходного Дома, точкой начала и конца цикла жизненного пути. В декоративной части сада, рукотворном рае на земле, Коврин чувствует себя частью природы, подобно Адаму, ощущает гармонию со всем мирозданием и умиротворенность, в коммерческой части – дисгармоничность. Прогулки по саду сопровождаются дымом – мистическим атрибутом уже присутствующих там демонических сил. Появлению и исчезновению черного монаха также сопутствует черный столб и дым. Черный дым ассоциируется с внутренней и подземной сферой, служит для обозначения мрака, хаоса и смерти. Образ монаха – многофункциональный и поливалентный – не только плод больного воображения, галлюцинация, но и персонаж, живущий своей жизнью и хозяйничающий в саду Егора Семеныча еще до приезда Андрея.

«Прототипом» образа черного монаха предположительно является демон из жития святого Антония. Житие святого Антония наверняка было известно хорошо образованному Антону Павловичу Чехову из двенадцатитомного жизнеописания святых, праведников и мучеников под названием «Четьи-Минеи», перешедшего писателю по наследству от отца. Искушения преподобного Антония демоном (являвшимся то в облике черного отрока, то – монаха) мыслими о блуде, прелестях мирской жизни, попытки склонить к сребролюбию и пробудить в святом гордыню и самомнение оказывались тщетными. Праведник нерушимо соблюдал чистоту души и всегда распознавал козни дьявола.

Наставления святого Антония в контексте чеховской повести доказывают демоническую сущность черного монаха. Преподобный Антоний в житии предостерегает: «...Демоны <...> иногда, приняв на себя монашеской образ, представляются благоговейными собеседниками, чтобы обмануть подобием образа... и вовлечь уже, во что хотят. Но не надобно слушать их... <...> не внимайте им; потому что лгут» [12]. В облике монаха демон уверяет магистра в том, о чем тот думает сам, и находит в нем благодарного собеседника, восприимчивого и верящего. Черный монах приступает к разрушению его искушенной грехом души. Коврин видит призрака в черном

облачении, но в отличие от святого Антония не распознает в нем лукавого. «И кажется, весь мир смотрит на меня, притаился и ждет, чтобы я понял его» [7, 268], – размышляет Коврин.

В житии Святого Антония возникает мотив боязни: «...Когда душа продолжает ощущать боязнь, – явившийся есть враг; потому что демоны не уничтожают боязни...» [12]. В чеховской повести мотив страха также связан с образом призрака и реализован сначала через боязнь безумного героя потерять счастье общения с монахом, комфорт, а в финале повести через опасение выздоровевшего магистра появления в номере черного монаха. Последний незадолго до смерти Коврина приходит и укоряет за непослушание и лечение от видений.

Песоцкий, также страдающий раздвоением личности, опасается проделок чертей, разрушающих его творение. Чехов отмечает сходство в психическом состоянии Коврина и Песоцкого: «С Егором Семенычем происходило почти то же самое... В нем уже сидело как будто два человека: один был настоящий Егор Семеныч... и другой не настоящий, точно полупьяный...» [7, 280]. И если «не настоящий» Песоцкий видел божественные, созидательные стороны человеческого бытия (например, говорил о выдающихся творческих способностях покойной матери Коврина, англоподобных чертах маленького Андрея, делающих его похожим на мать), то «настоящий» Егор Семеныч воспринимал происходящее вокруг как разрушение и гибель, творимые в мире дьяволом. Раздвоенность сознаний героев вновь актуализирует библейский сюжет изгнания из рая, поскольку искушенный человек навсегда утрачивает свою цельность, обретая синтез божественного и дьявольского начал. Библейская легенда об Адаме и Еве, изгнанных и наказанных болезнями и смертью за проявление индивидуальностей и стремление к самовозвышению и богоподобности, также суть инвариантная модель, подвергнутая изменению со стороны авторского индивидуального сознания, но сохранившая структурообразующий элемент – мотив грехопадения. Грехопадение осознается в библейском предании как отторжение индивидуального человеческого сознания от целостности божественного всеобнимающего сознания.

Мотивы судьбы, двойничества и болезни – точки сближения чеховской повести и с древнерусскими повестями («Повестью о Горе-Злочастии» и «Повестью о Савве Грудцыне»). Архаический текст-код (сюжет о блудном сыне) как образ-метафора подобен узелку, завязанному на память. Связывая тексты разных эпох в единое смысловое пространство, он выявляет и моделирует присутствие исторического жизнепорожда-

ющего процесса. Сюжетная ситуация сотворения детьми собственной биографии (реализация выбора) и несогласия с волей отцов (конфликта поколений) составляет основу повествования. Сюжет-архетип, расширяя смысл, становится метатекстом по отношению к другим моделям-вариантам и определяет природу межтекстовых связей. В евангельской притче торжествует идеальное начало, восстанавливается патриархальная семья. Сложные жизненные ситуации выдают обратный вариант — невозможности первоначальной идиллии. Разлад с миром ставит героев перед выбором: принять жизнь как идиллию, готовую, устроенную не ими, либо как странствие, ища в жизни лучшего, своего, добытого своими руками. Молодец, Савва, Коврин в ситуации выбора избирают свой путь.

Симптомы болезни обнаруживаются в образах главных героев всех трех произведений, в которых внутренний конфликт между страстью и разумом, низменным и возвышенным, разрешается персонификацией судьбы. Бесовское/демоническое вмешательство воспринимается как добро до поры до времени. В «Повести о Савве Грудцыне» и в «Черном монахе» присутствуют два мира, два плана, два уровня: мир, в котором живут и который видят только Савва и Коврин, — мнимый мир (мир видений и болезненного сознания). Это духовный уровень, в котором герои чужды людям. Дважды говорится о «безумии» Саввы, возгорающегося греховной страстью к жене Баже-на Второго и попадающего под влияние бесовских сил. Реальный мир составляет биографический уровень произведений. В «Повести о Горе-Злочастии», задуманной в широком морально-философском плане, текстуально присутствуют история странствия блудного сына в библейском сюжете об Адаме и Еве и история странствия безымянного молодца. Рассказывая о человеке, отказывающемся от идиллии, уготованной Богом, не уживающемся с ней («человеческое сердце несмысленно и неуимчиво»), автор показывает, как с тех пор стало «зло племя человеческо» и как за это бог послал на него несчастья [14, с. 192]. Жизнь людей после изгнания из рая понимается как «безумная». Безумию подвергается всякий, кто желает «жити, как ему любо», а значит, и тот, кто стремится к эмансипации, индивидуализму и непохожести. Активными были безымянный молодец, Савва Грудцын и Андрей Коврин, ставшие блудными сыновьями.

На страницах всех трех повестей образы чужих людей символически предстают помощниками Бога в искоренении зла. От их рук гибнет в чеховской повести сад, хозяин которого посягнул на природу как творение божие. В «Повести о Горе-Злочастии» «добрые люди» принимают

обедневшего молодца, кормят, поят, дают «безумному» молодцу наставления, подобно господним и родительским, о правильной, безгрешной жизни. В «Повести о Савве Грудцыне» незнакомый чужой человек («старейша нища мужа стояще»), встретив Савву, плачет о погибели его души и предостерегает героя. Отвернувшись от «святого» старца, Савва возвращается к бесу. Молодец следует некоторым советам чужих людей. Песочный боится их. А Коврин боится гнева господня. Андрей осознает, что дарованное ему счастье имеет не божественное происхождение, а значит, способно обернуться злой участью (злочастием). Счастливые моменты жизни, исключительно связанные с бесовским/демоническим влиянием, рано или поздно воспринимаются героями как ложные, иллюзорные, добытые не своими руками.

Двойники героев амбивалентны: Горе, бес и монах выступают и врагами, и их помощниками, удовлетворяют низменные желания героев и разрушают их души, отступившие от Бога. Персонифицированная судьба, злой рок, доля привязывается к ним как воплощение духовной и физической смерти. Описания князя тьмы в повести о Савве схожи с чертами персонифицированного образа смерти, представленного в традициях фольклора: смерть изображается как бледное существо в черном одеянии с косою в руках. Горе приходит к молодцу «с косою вострою» и грозит. Монах тоже является в черном, с бледным, точно мертвым, лицом.

Различно-похожи финалы сопоставляемых произведений. Преодоление темных сил, освобождение от них — разное. К идеальному исходу близки авторы древнерусских повестей, приведшие своих героев в монастырь, пребывание в котором предполагает отказ от индивидуальности и неизбежность одиночества. Возвращение в лоно корпорации к непрекословным заповедям господним аналогично возвращению блудного сына к Богу-отцу, глаголющему в своих наставлениях божественную истину. Коврин, отчужденный от мира и от Бога (отпадение от целого — сущностное) в своем уединенном сознании и лишенный родственных связей в своем выборе, умирает. Блаженство, испытанное им в предсмертную минуту, и лужа крови на полу около его лица, как знак жертвенного искупления и очищения, свидетельствуют о приобщении к таинству «рождения в вечность», о «духовном возрождении, катарсическом просветлении, прозрении» [3, 97]. «Бесовское» безумие как одержимость демоническим духом перед смертью трансформируется в безумие «священное» как приобщение к божественной истине. Молодец и Савва, покаявшиеся перед господом Богом, находят избавление от судьбы-горя при жизни. Для Коврина, гениального или

ординарного, смерть становится избавлением от внутренней дисгармоничности, от страданий блуждающего рассудка.

Активирование христианских мотивов и сюжетов создает в чеховском тексте сеть интертекстуальных эквивалентностей — сходств и контрастов, касающихся различных тематических единиц: персонажей, ситуаций и действий, непрерывно повторяющихся во все исторические времена. Межтекстовые связи и механизмы их порождения отражают обозначенное Ю.М. Лотманом существование двух тенденций в развитии художественного текста: стремление к автономности, замкнутости и стремление к взаимодействию с другими текстами. Как отмечает ученый, «текст предстает перед нами не как реализация сообщения на каком-либо одном языке, а как сложное устройство, хранящее многообразные коды, способное трансформировать получаемые сообщения и порождать новые, как информационный генератор, обладающий чертами интеллектуальной личности» [15, 132].

ЛИТЕРАТУРА:

1. Томпсон Д.Э. «Братья Карамазовы» и поэтика памяти / Д.Э. Томпсон — СПб, 2000.
2. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Пер с франц. / Р. Барт — М., 1989.
3. Ибатуллина Г.М. Человек в параллельных мирах: художественная рефлексия в поэтике чеховской прозы / Г.М. Ибатуллина.— Стерлитамак : Стерлитамакская гос. пед. академия, 2006.

Радь Эльза Анисовна
Кандидат филологических наук, доцент кафедры
русской литературы
Стерлитамакской государственной педагогической
академии им. Зайнаб Бишевой,
E-mail: elza_rad@mail.ru

4. Тюпа В.И. Художественность чеховского рассказа / В.И. Тюпа.— М. : Высшая школа, 1989.
5. Чудаков А.П. Поэтика Чехова / А.П. Чехов. — М., 1971.
6. Лихачев Д.С. Великое наследие / Д.С. Лихачев. — М., 1975.
7. Чехов А.П. Черный монах // Чехов А.П. Собрание сочинений в восьми томах. Том пятый. Рассказы, повести, статьи / А.П. Чехов.— М., 1970.
8. Богданов В.А. Лабиринт сцеплений / В.А. Богданов.— М., 1986.
9. Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX — XX вв.: Трактаты, статьи, эссе / Р. Барт. — М. : Изд-во МГУ, 1987. — С. 387-422.
10. Тюпа В.И. К вопросу о мотиве «уединения» в русской литературе нового времени // Материалы к Словарю сюжетов и мотивов русской литературы: Сюжет и мотив в контексте традиции. Под ред. Е.К. Ромодановской / В.И. Тюпа. — Новосибирск, 1998. Вып. 2. — С. 49-55.
11. Энциклопедия символов, знаков, эмблем / Сост. В. Андреева и др. — М., 2001.
12. Житие преподобного отца нашего Антония, описанное святым Афанасием в послании к инокам, пребывающих в чужих странах [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.orthlib.ru/Athanasius/ant.html>
13. Памятники литературы Древней Руси: XVII век / Вступ. статья Д. Лихачева; Сост. и общая ред. Л. Дмитриева и Д. Лихачева. — М., 1988.
14. Демин А.С. О художественности древнерусской литературы. / Отв. ред. В.П. Гребенюк / А.С. Демин. — М., 1998.
15. Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т. 1. / Ю.М. Лотман.— Таллинн, 1992.

RaddElzaAnysovna
Candidate of Philological Science, Docent
Governmental educational establishment of higher
professional education «Sterlitamak State Pedagogical
Academy named after Zainab Biisheva»
E-mail: elza_rad@mail.ru